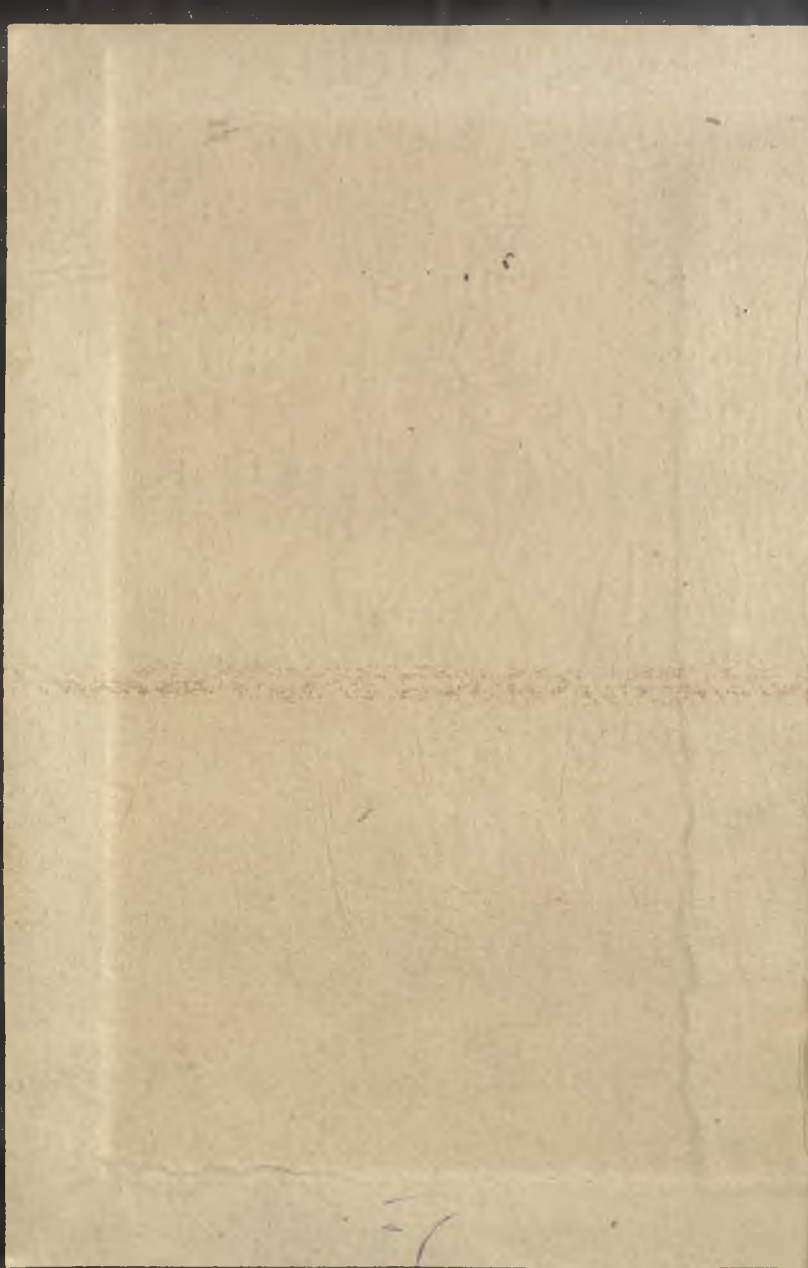
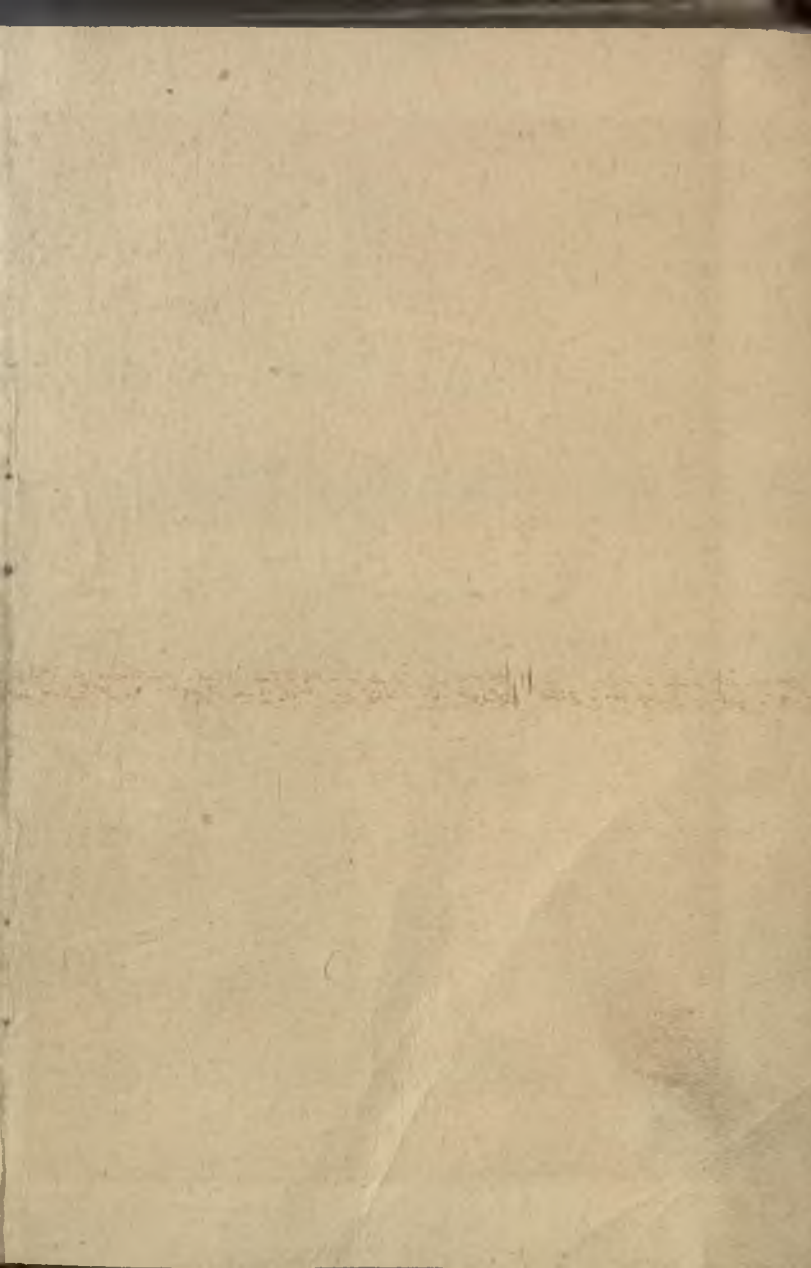


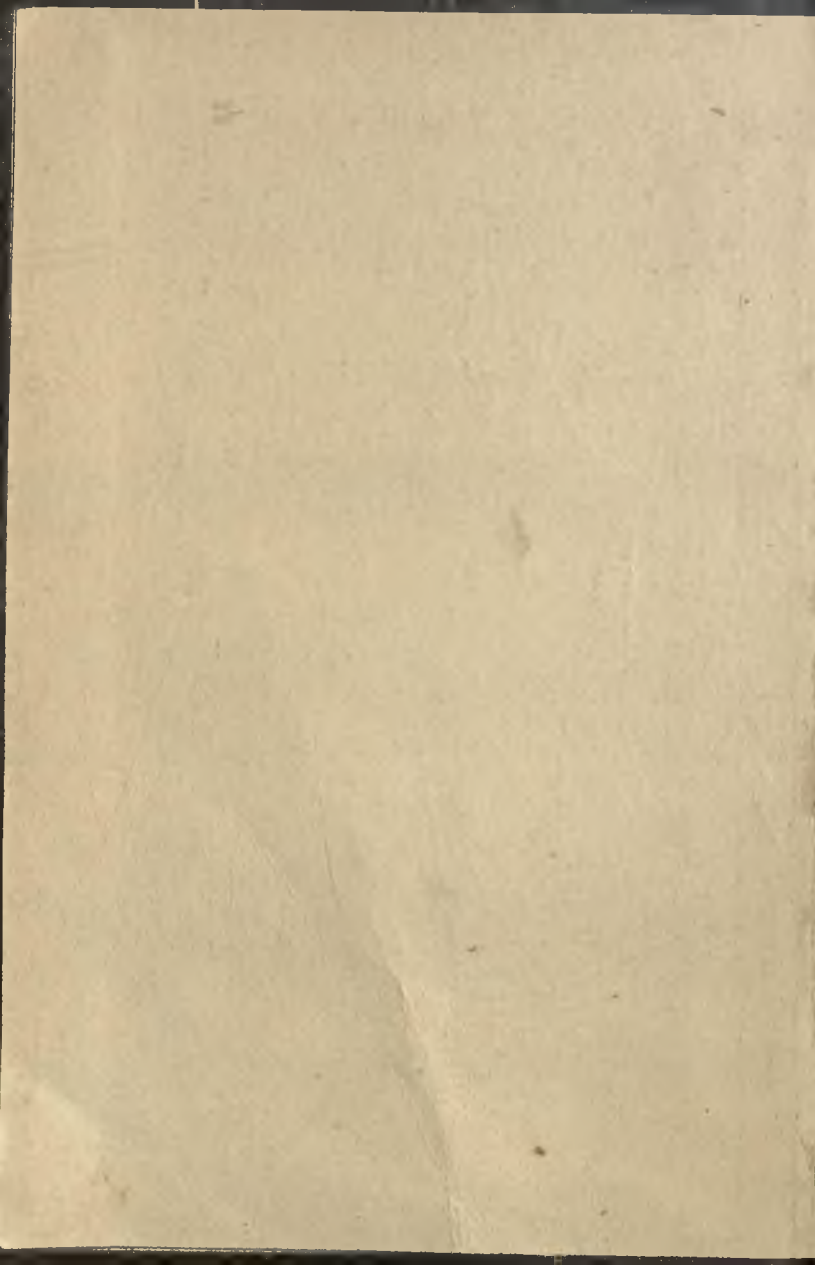
ДАЛЬНЕЕ-
БЛИЗКОЕ











516

П. Б А Ж О В

ДАЛЬНЕЕ — БЛИЗКОЕ

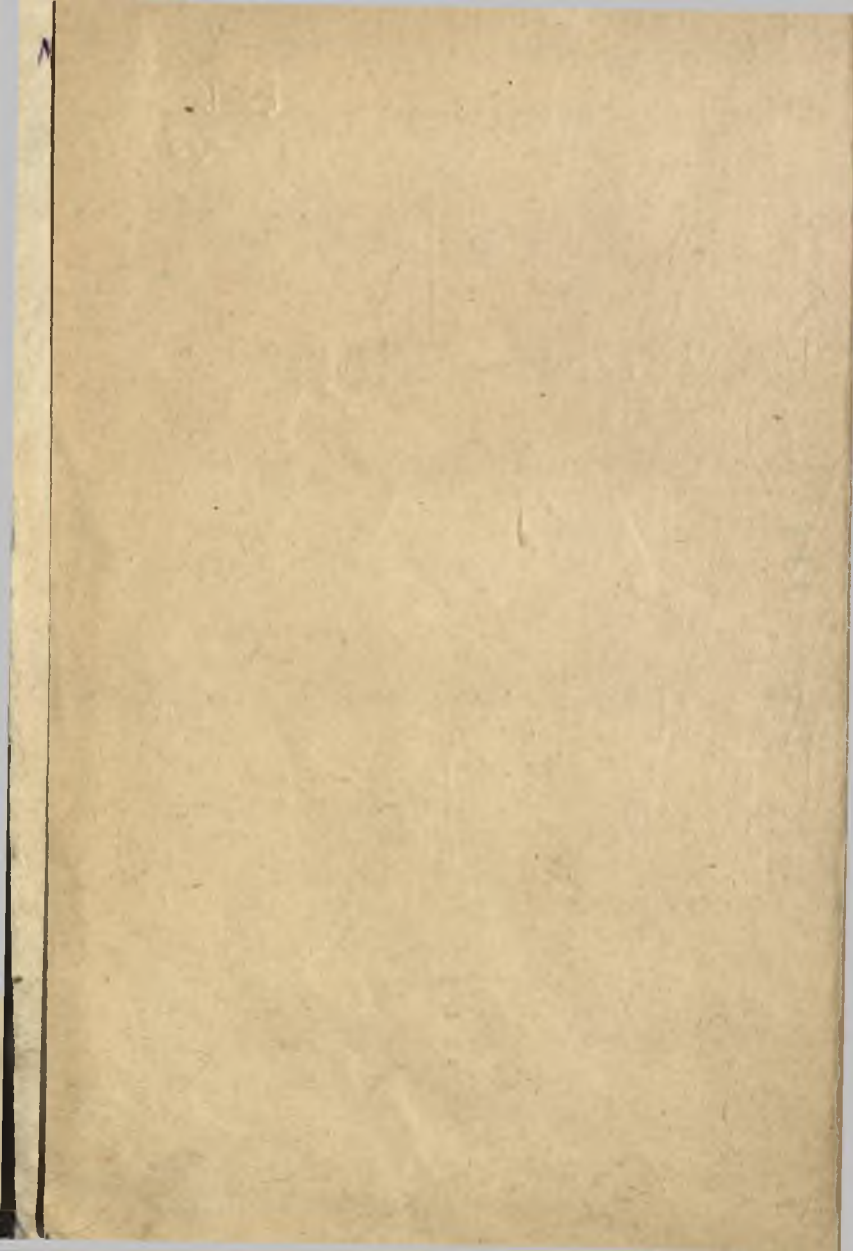
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О НАШЕМ ГОРОДЕ

*

78 01 персав

70

Свердловское Областное
Государственное Издательство
1949



Вечером мы с Петюнькой долго вертелись около завалинки нашего дома. Петюнькин отец Илья Гордеич «был в градусах» по случаю своего «андела» и зеленого сена. Пьяный он всегда кого-нибудь допрашивал:

— Суседи мы с тобой, Данилыч? Спорились когда? дирались?

— Не бывало, ровно,— отвечал мой отец, который «по случаю соседова андела» тоже подвыпил.— В малолетстве, может, когда.

— Малолетство к чему считать? Вместе росли? По одним баням картошку пекли? Заединщиками были? А теперь как?

— У одних печей стоим.

— Во-во! Ты в паленьговой, а я где? Что нам делить?

— Горбы да мозоли.

— Хо-хо. Верное слово сказал. Люблю я тебя, Василко. За уголок не сходим? Неуж

меня не проздравишь? С анделом-то? с зеленым сеном?

— Будет уж вам проздравляться,— вмешивается из окна моя мать.— Без того напроздравлялись,— языки заплетаются.

Гордеич вытянул правую руку и быстро-быстро замахал кистью, как на цыплят.

— Молчи-ка ты, молчи, Семеновна! В кои веки выпили, о чем разговаривать? Пятака пожалела на стаканчик? Неуж не заробим?

— Не пятак жалко,— отступает мать.— Сами же завтра маяться будете.

— А с успенья, как завод пойдет, что у нас будет? Не маята, по-твоему, цельный-то день при печах жариться? Видала,— рубахи-то просолеют? Как ты это разумеешь?

— Кому сказывать! Сами небось холст ткем и рубахи моем, не наймем. Тоже ведь день-денской не без дела сидим. Только это ты, видно, не за что считаешь,— переходит в наступление моя мать, но добродушный Илья Гордеич не хочет этого спора и примирительно говорит:

— Кто скажет, что женское положение мед? — и делает совершенно неожиданный вывод:

— Значит, и разговаривать не о чем. Подумаешь,— беда, коли мы по лишней стекляшке опрокинем! Правильно я говорю, Данилыч?

Отец, видимо, согласен, что стекляшка не повредит, но он уже разулся, а ходить в кабак босиком не в его правилах.

— Обуваться только неохота,— говорит он.

В это время из окна соседней избы влещается еще женский голос:

— Илья! да иди ты спать-то! Угому тебе нету.

— А, сказалась-таки,— обрадовался Илья Гордеич и сейчас же перешел на свою вопросную систему:

— Спать, говоришь? А сколько у нас девок? Пять? а парней? двое? У добрых людей этак же?

— Тьфу ты, блажной! Нешто я виновата, что ребят много.

— Ишь, куда повихнула,— хитро подмигивает Гордеич.— Ты нам то обскажи, пошто девки? куда их?

— Вырастут,— замуж выйдут,— откликнулась моя мать.

— Верное твое слово, Семеновна,— соглашается Илья Гордеич, встает с камня, переходит к моему отцу, садится с ним рядом на каменную плиту, заменявшую скамью, и говорит:

— Снять, видно, и мне сапоги: ноги занемели. Стащив сапоги и развернув онучи, он похлопывает босыми ногами по песку у скамьи,

потом не спеша закуривает, а знающий свое дело Петюнька тем временем уносит сапоги и онучи в избу. Подымив несколько минут молча, Илья Гордеич вернулся к прежнему разговору; но уже заговорил по-другому, с раздумьем:

— Верно твое слово, Семеновна, замуж выйдут, а за кого? Афимшу вон у нас сватают, а отдавать ли? Жениховская природа нам с матерью не глянется. Любят, видишь, мяконько прожить, а баб замордовали. Разве это порядок? Афимка-то нам не чужая, поди. Своя кровь. Неуж на то растили, чтобы на маяту отдавать?

— Кто хоть сватается?

— Зарешные, Толшмяковы. Дом у них в половине горы стоит, как от мосту идешь. Мы еще бивали этого Толшмякова, как в молодых годах были.

— Ну, мало ли с кем из зареченских драки бывали.

— Да знаешь ты! Михайловой невесте кто вовсе зря ворота вымазал?

— Рыжа Шишига? — удивился отец.

— То и есть, — Шишига. Его парень. Нам с матерью неохота Шишигам отдавать, да и Афимша ревет: «не пойду», — говорит!

— Ты бы, Илья, хоть не все сказывал. Еще ничем ничего, а он судит!

— Это ты цыть! У меня от Васи́ка тайностей нет. С ребячьих годов заединщики. Поняла? Посоветовать с ним желаю насчет Афимши. Так я говорю, Данилыч?

— Что советовать-то? Девка не перестарок, не урод, к работе приучена. Неуж своей судьбы не найдет кроме Шишиги. Слыхал я тоже про них,— выжиги.

— А ты, Семеновна, что скажешь?

— Да это же скажу. Хотя Шишиг не знаю, а торопиться с выданьем не след. Фима у вас девушка не из тех, кои засидеться могут.

— Слышала, мать, что говорят? — обратился Илья Гордеич к жене. — Поворотить оглобли Шишигам советуют. Мы с тобой как думали? Этак же? Скажи Афимке, пусть не ревет, не отдадим Шишигам.

Сильно хлопнув отца по плечу, Гордеич спросил:

— А ты как с Егоршей-то? Повезешь его в город учиться?

Стоявший рядом со мной Петька толкнул меня в бок, но это было излишне, я и без того насторожился, ждал «решительного слова».

— Да на то решились, чтоб поучить, сколько силы хватит,— ответил отец и добавил: — Насчет сена сомневался, не придется ли покупать, а оно, видно, на Егоршино счастье, нынешний год хорошо пришло.

Долго после этого еще шел разговор на завалинке, но я больше не слушал, или, вернее, не слышал. Все заслонил отцовский ответ, которым решался вопрос о моем учении в городе. С этой мыслью я и укладывался спать рядом с Петюнькой на сеновале. Он, как водится, пристаивал с разговорами, но я отмалчивался, так что он даже укорил:

— Ишь городской! Зазнался!

Петька был прав, поставив на первое место город, а не учебу.

Вся выработка нашего завода отправлялась в город. Его обыкновенно не называли.

Любому из подростков было известно, что до города 47 верст, что самое трудное место в дороге кривой Шаманаев угор, а в городе «железный круг» и «привокзальная топесь». На «железный круг» и «топесь» была заметная прибавка провозной платы, но каждый из «возчиков железа» старался «выхватить езду в лавку».

— «Лавка», или как ее официально называли «склад металлов Сысертских заводов», была «с ходу», вблизи «Хлебного рынка».

— Удобство туда, — хвалились возчики, — сдача маховая, успевай по весам пропустить.

Приказчик за одним глядит, не убавлено ли дорогой. А как его убавишь, коли кровельное и прутовое в пачках, а шинное в сгибнях. Попробуй, огрызи! Да и всякому лестно другой раз езду в лавку получить. Стараются, чтоб оплошки не вышло. Глядишь, сдача-то вприскочку идет. Сдал — и сразу на Хлебный. Выпряг лошадь, поставил к хребтюгу, и сам можешь горяченького хлебнуть, коли пятак имеешь. Обжорный тут он, на Хлебном же.

Совсем по-другому рассказывали о привокзальных складах.

— Хуже места выбрать не нашли! Дальше это от лавки-то версты на три, и сдача там самая канительная: один принимает, другой проверяет, третий — хабару ждет. В ненастье там чистый конобой. Место, видишь, ровное, стоку воде не налажено, а подвоз железа большой. В ненастье так растопчут, что напросте еле ногу из грязи вытянешь, а с возом как? Старику, либо женщине, о маленьких не говоря, при таком деле никак несподручно. Да еще машина свистит. Какая молоденькая лошаденка шарахнется, других всполошит, тут, знай, посматривай да поворачивайся, а то и себя и животину загубить недолго, особенно когда близко придутся «кретовые воза» с долгим железом. С народом тоже рассорки много. Всяк, понятно, старается захватить себе и

своей артели место поближе. Ну, и лаются, а иной раз и до драки дойдет. Сдашь железо, так еще сколько времени выбираешься, потому — дорога заставлена вновь приехавшими. А ездят с дальних заводов большими артелями, человек по полсотни. Сговорись с ними добром, коли у каждого одно на уме, — как бы поскорее к весам пробиться: — Сколь ни худая порой дорога случится, а этот «железный круг» того тошней. Выберешься из него, — как из шахты вылезешь.

Вероятно, этот «железный круг» был одной из причин, почему ребята школьного возраста даже в тех семьях, где исключительно занимались перевозкой железа, почти не бывали в городе. По крайней мере, в своей улице я не знал никого из своих ровесников, который мог бы похвалиться, что он побывал в городе.

Все мы, конечно, интересовались городом, но слышали от больших об одном: «лавке» и «железном круге». Женское население, бывавшее в городе главным образом во время послепасхальных «дешовок», когда спускался залежалый и «вышедший из моды» товар, жаловались на давку и недобросовестность продавцов.

— На глазах обмерил! Не то поддернул! Хороший ситчик выбирала, а он с другого, видно, конца отрезал. Видишь, гнилой ока-

зался. В оба глаза глядишь, и то за ними не уследишь.

Редкая похвалится:

— Вижу, — не добиться мне до прилавка, пошла на-удалую: выхватила у одной тетери из рук, говорю приказчику: «Режь 15 аршин». А ему, приказчику-то, какая разница. На аршин да и ножницами, а та бабенка на меня налетела, да я ей отрезала:

— Кто зеваает, тот воду хлебает, а пошевелишься, так и щей ухватишь.

Мой отец за годы военной службы побывал во многих городах. Он охотно рассказывал о чем-нибудь «к случаю», охотно же, но коротенько отвечал на вопросы, а связно и «подолгу», как некоторые другие, говорить не любил или, может быть, не умел.

На вопрос о городе он отвечал:

— На другие города наш не походит. Он вроде самого главного завода. На железе родился, железом опоясался и железом кормится.

Заметив мое недоумение по части кормежки железом, пояснил:

— Видал, сколько баранины по городской дороге зимой провозят, а летом сколько конских табунов проходит? Обратно каждый, небось, что-нибудь из железного товару везет и себе и на продажу. Топоры, скажем, котлы,

пилы, подковы. Вот и выходит, что они в город за железом ездили, на свой товар меняли. Тоже вон теперь мельниц по Исети настроили! Почему, думаешь? Не больно у нас тут хлебная сторона, больше рудники да прииски. Хлеб с других мест возят, а перемалывают тут около железной дороги, а она эта железная дорога сама за железом прошла.

В нашей улице жил тогда дедушка Платон. Он называл себя отставным мастеровым казенных Екатеринбургских заводов и получал «пенсион». Доживал дедушка Платон свои дни «при внучке», которая была замужем за нашим сысертским доменщиком Пролубщикovým. Старик, выдержавший 30 лет горно-капторжной работы, теперь хвалился:

— Солдатское житье против нашего вроде разгулки. Потому — солдат не каждый день кровь проливает, а на заводе чуть что — ложись! Так исполосуют, что еле жив останешься.

О городе дедушка Платон говорил:

— Другого такого по всей нашей земле не найдешь. В прочих городах, известно, всегда городничий полагается и другое начальство тоже, а у нас один горный начальник. И никто ему не указ, кроме самого царя да сенату. Губернатор или там исправник ему не при чем. Что захотел, то и сделал! Такое ему доверие

дано. Горный начальник тут всем и поворачивает. Строгости были, не приведи, бог! Теперь приснится, так аж холодно станет.

Потом я узнал, что, действительно, в «горном уставе» была специальная статья (18-я), гласившая, что Горное управление «кроме высочайшей власти и правительствующего сената ни от кого никаких указов не получает». Горному управлению даже предоставлялось право производства в чины до девятого класса включительно.

В летнюю пору, во второй половине июня старого стиля, городская жизнь отражалась в нашем заводе в виде «трудников» и конских табунов. В это время женский монастырь справлял свой годовой праздник, тогда же проходила конская ярмарка. Так и говорилось, что ярмарка к монастырскому празднику подгонялась. На деле, вероятно, было наоборот. К ярмарке, существовавшей с первых лет жизни города, местный монастырь, возникший позднее, подогнал свой праздник.

«Трудники», большей частью старики и старухи, которые дали обет потрудиться, — сходить пешком на богомолье, не привлекали ребячьего внимания. Идут и идут. На спине котомки, в руке длинная палка — бодожок. Ничего интересного. Зато прохождение конских табунов представляло много соблазни-

тельного. Жившие в стороне от Челябинского тракта тогда по целым дням толпились у зареченского моста, чтоб не пропустить какой-нибудь из проходивших табунов. Взрослое мужское население тоже было неравнодушно к этим табунам, и, кому можно было отлучиться с работы, тоже приходили сюда «присмотреть из проходящих». Порой кричали:

— Эй, знаком, продай вон ту гнедую! Во втором ряду справа четвертая!

Все заранее знали, какой будет ответ.

— Нильзя, друг! Ярманкам гуляй! Город цина ставил!

Наиболее заинтересованные пытались урзонить.

— Да что город! Деньги сейчас даю! Сколь просишь-то? Ответ, однако, оставался неизменным:

— Ярманкам гуляй! Город цина давал!

Наседание на табунщиков усиливалось, когда проходил «отборок» — табун иноходцев и достигал высшей степени при прохождении «одномастки». Об этом узнавали как-то заранее, и улицы по тракту густо заполнялись зрителями, в том числе и женщинами. Стояли часами, боясь пропустить это редкое по красоте зрелище, когда проходило несколько сот лошадей, почти неразличимых по масти одна от другой.

Заводские подрядчики, имевшие деньги и большой азарт, начальство, купцы наперебой соблазняли табунщиков разными обещаниями, чтоб те «уступили любую за первое слово», т. е. без ряды. Было забавно и чем-то приятно слышать, что посулы богатых лошадников разбивались все тем же ответом:

— Ярманкам гуляй! Город цина давал!

Нас ребят больше всего занимало, кто может в городе купить столько лошадей. После ярмарки снова дежурили у места, чтобы посмотреть, много ли лошадей пройдет обратно. Но картина обычно была такая: молодых лошадей не видно, гнали только «махан» — старых изрубленных или покалеченных лошадей. Их брали за бесценок, в расчете забить на мясо, когда немного отгуляются в степи. На таких же привычных к оглоблям старых лошадях везли на новеньких телегах и дрогах «городской товар», среди которого дети зареченских кузнецов иногда видели и знакомые им решетки подков:

— Видишь, вон на той телеге решетка тятиной работы. Синим мазнуто с левого боку. У Федорова, значит, покупал. Ему тятя сдает.

Взрослые на вопрос, почему так много покупают лошадей в городе, объясняли:

— Многолюдство же там. Со всех заводов железо туда возят. На одном «железном кру-

гу» сколько лошадей изводится! На ярмарке эти люди, которые железо возят, вот и покупают лошадку. Где больше свеженькую-то доступишь, как не из табуна.

Все эти объяснения казались неудовлетворительными. Каждому из ребят хотелось самому побывать в городе, посмотреть своими глазами. Особенно манила невиданная «чугунка», как тогда даже в учебниках звали железную дорогу.

Мой отъезд в город на учебу был для ребят нашей улицы большим событием. Все давно знали, что Чернобородый, как ребята звали уездного ветеринарного врача Алчаевского, «берется выучить Егоршу в городе», но все же полной веры этому не было.

— Может, раздумает еще. Мало ли большие обещают.

Теперь это определилось окончательно. Ребятам всей улицы известно:

— Завтра Егорша поедет. В десятом часу. С отцом, с матерью, на дедуковом Чалке. А коробок Гоглевский. Дрожки-то у них рябиновые. Сам старик Гоглев делал. Качкие! Егорша до городу сам править будет.

По такому случаю накануне были «прощальные игры». Вечером долго засиделся со своими «заединщиками». Петька откровенно завидовал:

— Не к рукам куделя! Мне бы поехать! Это бы так точно. Знал бы, на какое место поглядеть!

Такое хвастовство в обычных условиях встретило бы ожесточенный отпор, вплоть до рукопашного, но теперь воспринималось вяло: «пусть говорит!» Кольша помалкивал, только при прощании сказал:

— Первым делом, Егорша, чугунку погляди и железный круг тоже. Потом нам расскажешь.

Дома тоже было невесело. Отец, вернувшийся позднее меня, сразу заметил унылое настроение и пошутил:

— Что-то наш городской притуманился. Того и гляди, либо нос зачесется, либо в глаз порошок попадет.

Бабушка, считавшая эту затею с городской учебой «немысленным делом», воспользовалась случаем «напоследок отговорить».

— Легкое ли дело из своего места в чужие люди поехать. Да еще в такое страховитое. Я вон восьмой десяток считаю, а в городе только двою была. Натерпелась страху-то! А тут, на-ко, что придумали. Десятилетка одного в городе оставить. Наговорил тебе Чернобородый четвергов с неделю, а ты и поверил! Он хоть и ладный, а все-таки вроде барина. Досуг ему за Егорушкой приглядывать.

Да и жена, поди-ка, у него есть. Как еще она взглянет!

Видя, что речь остается без ответа, бабушка меняет прицел.

— Что молчишь? Не смеешь против грамотейки своей слова вымолвить. Нашептала она тебе?

Перекоры по поводу моей учебы случалось слышать не раз. Обычно бабушка «страшала»: «заблудится», «лошадьми стопчут», «оголодает», «худому научат». Мама старалась доказать свою правоту, ссылаясь на присловья: «ученье — свет, неученье — тьма», «без грамоты, как без свечки, в потемках ходят» и т. д.

Несмотря на резкий и откровенный вызов, мама на этот раз смолчала, и от этого ей стало еще тяжелее. На глазах появились слезы. Отец, привыкший строго держаться принятого решения, укорил:

— Радоваться надо, а она реветь собралась!

Обратившись к бабушке, попросил:

— Не встревай, мать, в это дело. Сами не железные. Понимаем, сколь сладко одного парнишку из дому отпустить, а надо! Время такое подошло. Без грамоты ходу нет.

Бабушка махнула рукой и, выходя из избы, проворчала:

— Больно умные стали! Своей крови им не жалко!

По уходе бабушки отец примирительно сказал:

— Старый человек, — не понимает.

Мама кивнула головой и подтвердила:

— Жалко ей с Егоронькой расставаться.

Мне приятно, что мама не сердится на бабушку. Чтоб закрепить это, добавляю:

— Это она так. Потом перестанет. Как на рождество домой приеду, по-другому заговорит.

Неожиданно вмешивается отец.

— Ты что это, милый сын? Не успел уехать, а о рождестве думаешь. Этак не годится. Коли за новое дело берешься, так его и держи на уме. Тебя, может, вовсе и не примут.

Это напоминание встревожило. Представилась картина экзаменов. А вдруг в самом деле не примут? Может, и не ездить? Бабушка вон как страшно рассказывает. А чугунок поглядеть? Железный круг? Петька что скажет, когда узнает, что струсил? Эта мысль о Петькиной насмешке была, помню, последней в решении вопроса. Больше не колебался. Хотелось только «уговорить» бабушку, чтоб не плакала и маму не укоряла. Направился к выходу. Отец вслед проговорил:

— Пойди-ка, пошепчись с бабушкой. На-долго ведь разлучаться приходится.

Бабушка оказалась на своем любимом месте,— на высоком крылечке амбарушки. Как видно, ждала меня. Крепко прижала к себе и тихонько всплакнула.

— Ты, Егорушко, не вини меня, старую. Отец с матерью, поди, не худого тебе желают, а только жалко мне, не могу себя сдержать. Вовсе, видно, остарела.

Слова говорились сквозь слезы, но действовали они на меня успокоительно. Больше всего меня как раз смущало то, что мой постоянный ласковый друг — бабушка была против ученья. Теперь я слышал другое, и это меня радовало. Я стал говорить то, что в случаях столкновений говорила мама: «ученье свет», «без грамоты, как без свечки». И было странно слышать, что бабушка соглашалась с тем, что постоянно вызывало ее возражения. Кончилась наша беседа обычно:

— Постой-ко, дитенок, оголодал, поди? Утром заторопился к ребятам, плохо поел, а обед пробежал. Пойдем, покормлю. Оставлено у меня, в печке. Похлебаешь горяченького да и спать. Завтра хоть не рано выезжать, а все лучше выспаться во-время.

Волнения дня закончились приятным ребячьим сном. Проснулся позднее обычного и

был огорчен, что отец уже ушел за лошадью. Хотел бежать вдогонку, но мама удержала:

— Давненько ушел. Того и гляди,— подьедет.

Так и вышло. Только выбежал на улицу, как мои «заединщики», стоявшие на углу, закричали:

— Едут, едут! Дедушко тоже. Проводить тебя захотел!

Дедушка, как всегда, «пришучивает».

— Не провожать, а сам надумал учиться. С Егоршей поеду. Поглядим еще, кого примут. Забыл вот только, сколько пятаков в девяти гривнах.

— Восемнадцать,— дружно отвечаем мы всей тройкой.

— Вишь ты! — сделал удивленное лицо дедушка, — а я считал — без гривенника рубль.

Приезд был замечен сразу по всей улице, и вскоре около нашего дома собралась толпа ребят моей «ровни» и малышей. Всем интересно было взглянуть, как «Егорша поедет». Для меня тоже это был первостепенный вопрос, заслонивший все остальное. Как-никак надо было выехать «не хуже людей», а дедушкин Чалко не отличался честолубием по части бега, не стремился показать резвость, да и не по годам это ему было. Даже дедушка, креп-

ко любивший своего старинного друга, не решился приписывать ему беговые качества. Называл Чалка «шаговой лошадыю». Причем, конечно, давалась попутная оценка другим лошадям.

— Которые век и рысью бегут, да мелко шагают. На то же и выходит. А мой податно идет. Хоть в гору, хоть под гору — ему все едино, на воз не оглянется.

Это была явная неправда. Я хорошо знал, что под гору Чалко любил поскакать козлом, а на гору охотно поднимался только с разбегу, а дальше начинались длительные остановки. И хуже всего, что дед отвергал употребление хлыста «для такой-то лошадки».

При таких условиях подумаешь, как быть, а Петька еще наговаривает:

— Припусти, Егорша, мимо Кабацкой-то! Пусть пылью чихнут! Припустишь?

Одна надежда была, что начало пути совпадало с дорогой к дому, куда Чалко шел всегда оживленно. Может быть хоть этим удастся прикрыться, а то обвинят в полной неспособности к кучерскому делу.

Вторым, не менее трудным, вопросом оказалась подушка на кучерском сиденьи. Дедушка набил мешок сеном и говорит: «как раз!», а ребята смеяться станут: «Маленький! Не может без мяконького!»

Ожесточенный спор с дедушкой потребовал вмешательства отца, который дал спору неожиданный поворот:

— Не бойся, не свернешься с подушки-то! Тихая лошадь,— не разнесет.

Мы оба запротестовали. Дедушка напомнил, что Чалко, конечно, шаговая лошадь, но за себя постоит. Я стал уверять, что «нисколечко не боюсь». Отец охотно согласился с дедом: — Я и говорю,— не разнесет.— Потом сделал вывод для меня:

— Коли не боишься, так и спорить не о чем.

С улыбкой добавил:

— Дорожные всегда так делают.

Хитрый он. Верно, скажу ребятам, — дорожным так полагается. Не поверят, поди? Скажут, что земские ямщики без подушки ездят. Так то ямщики! И тоже на сиденье подкладывают. Во всяком случае подушка больше меня не тревожила. Зато выезд не сходил с ума. Когда садились «перекусить на дорогу», успел незаметно сбегать во двор и убрать брошенное Чалку сено: — Наестся, так и домой не побежит, а ребята скажут,— не умею править.

Еда проходила скучно. Даже всегда шутливый дедушка на этот раз наставлял:

— Гляди, Егорша, учись порядком! Слу-

шай, что учителя говорят. Не шали. Наше дело не барское. С потовой копейки учить тебя отец с матерью собираются. Ты это помни. Городским тоже не поддавайся.

Бабушка твердила одно:

— Не бегай далеко от места, в коем жить придется.

Но вот эта тоскливая еда кончилась. Выйдя из-за стола снова «сели перед дорогой», покрестились и стали «выноситься». Гоглевский коробок не отличался отделкой, но был сделан хозяйственно, т. е. прочно и просторно. Мешочек с моим имуществом, корзина с «подорожниками», мешок с овсом для Чалка, несколько охапок сена «на первый случай», — все это не особенно «стесняло» моих родителей. Пока дедушка с отцом заворачивали Чалка, я выбежал на улицу, проститься «за ручку» с товарищами и услышал последний наказ:

— Замечай в городе-то, — как там? Против Кабацкой-то пропусти!

Вернувшись во двор, торопливо чмокнул бабушку, подбежал к деду, который ласково похлопал по спине и посоветовал:

— На спусках покрепче сиди! Упирайся в подножку, а то холку набьет.

Наступил ответственный момент выезда. Сиденье казалось высоким, ноги едва доста-

вали до подножки. Уселся все-таки «по полному правилу», подобрал вожжи. Дедушка открыл ворота, но Чалко оставался совершенно равнодушен к подхлестыванию вожжами. Как видно, он ожидал, когда усядется его хозяин. Меня уж «бросило в краску», но дедушка не спеша подошел к Чалку, ухватил его за ухо и громко сказал:

— Не поеду, дурачок, не поеду! Егоршу слушайся!

И было удивительно, что Чалко, встряхивая ухом, сразу пошел со двора. Может быть, он рассчитывал, что при таком кучере скорей доберется до дому. Поворот налево ему пришелся по нраву, второй поворот налево побудил к необычайной для него резвости. Мимо своих исконных врагов — ребят Кабацкой улицы — удалось, действительно «пропылить». Жаль, — видел это один Трошка Складень, который мог лишь бессильно погрозить кулаком.

— Ничего, пусть грозит. — Своим-то все-таки расскажет, как каменушинские ездят!

Приятная для меня и Чалка дорога продолжалась недолго. Вскоре наши желания резко разошлись: ему хотелось повернуть направо, — к дому, а я из всех сил тянул левую вожжу. Чалко тогда решил вовсе остановиться и только после того, как к моему понука-

нию прибавился окрик отца, зашагал дальше, но уж без всякого одушевления.

С этого места мы выехали на Челябинский тракт. Править лошадью стало гораздо хлопотливее. Хотя день был праздничный, движение на тракту было довольно сильное. Железной дороги на Челябинск тогда еще не было, и гужевые перевозки имели полную силу. С заводов, начиная от Каслей, весь металл тоже шел по этой дороге на ближайшую железнодорожную станцию в Екатеринбург. Сюда же шло немало хлебных обозов. Навстречу везли «городские товары». То и дело звенели колокольцы. Ехали на парах и тройках.

Земские, запряженные в довольно растрепанные коробки, трусили без всякого блеска. Зато на «заводских» старались «доказать». Особенно запомнилась тройка соловых при самом выезде из завода. Отец неодобрительно пояснил:

— Каслинский барин. Видишь, задается, а у самого все железо и литье заложено. Мастер лошадей загонять. Не лучше наших дураков. В тот раз у него лошади пали на полдороге к Щелкуну, а нейметса. Опять пешком прогуляться захотел. Вишь, гонит.

Зато Чалко вовсе не желал себя изнурять. У него даже теплилась надежда вовсе отде-

латься от дальней дороги. Около Ильинского завода он опять усиленно потянулся направо, когда же убедился, что придется идти налево, помотал головой, как-то весь вытянулся и, не оглядываясь больше, пошел «возовым» действительно «податным» шагом. Отец, глядя на попытки Чалка увильнуть от дороги, смеялся.

— До чего изнабазулен, стервец! погоди вот,— дотянешь до березнику, пропишу тебе бодрых капель! Вспомнишь, как жеребенком бегал!

По тракту в пределах своего завода мне случалось бывать. Я знал, что от возов и колокольцев всегда надо сворачивать в сторону, а от порожняку как придется. Если у тебя меньше людей, ты сворачиваешь, если у встречных — они. На деле оказалось это утомительно, но я все же справлялся и был очень доволен. Только, когда проезжали по деревне Кашиной, какой-то парнишка моего возраста, увидев, что я держу вожжи в вытянутых руках, насмешливо крикнул:

— Держи, держи, не отпускайся!

Это был, конечно, удар по кучерскому самолюбию. И хуже всего, не нашлось ответного слова. В растерянности оглянулся на маму, но она смотрела куда-то в сторону, хотя я чувствовал, что она переглядывается с отцом

и даже как будто слышал отцовские слова: «чуть маму не закричал».

Раздумывать, однако, было недосуг: дорога ставила новые трудности. Слева уже крикнули:

— Эй, малец! В которую сторону глядишь?

Медлительность Чалка теперь меня не волновала. Пожалуй, и лучше, что он не торопился. Так все-таки легче пробираться в дорожной сумятице. Не протестовал даже, когда Чалко норовил встать в хвост попутного обоза. Отец, по давнему с ним условию, чтобы мне самому до города править, — не вмешивался в мои кучерские права, но все же напомнил:

— Объезжай, милый сын, а то до ночи протянемся! Не с возом мы. Пошевеливай маленько!

Объезд попутных обозов оказался нелегким. Тракт неширок, и приходилось хорошо рассчитывать свободную полосу дороги. Успех во многом зависел и от быстроты, а Чалко никак не хотел спешить. Удачнее объезд проходил на спусках, но один раз я тут попал впросак. Обоз как раз остановился перед спуском, слева была свободная полоса дороги. Чалко, побуждаемый понуканьем, подхлестываемый вожжами, разбежался под угор, но от обоза закричали:

— Стой! Не видишь?

Довольно еще далеко от нас виднелась пара, колокольцев не было слышно, но на черной дуге коренника был прикреплен яркий красный лоскут. Справа и слева верховые с ружьями. Запряжены лошади в какую-то необыкновенную телегу — ящик. Над ящиком пристроено сиденье, на котором непривычно высоко сидит кучер. За телегой еще трое верховых, тоже с ружьями. У среднего на длинной палке опять красный лоскут.

Сдержать Чалка под гору мне было не по силам.

Вмешался отец. Он так осадил, что старый мерин оглянулся: что это?

Пара не спеша поднималась в гору. Кучер на своем высоком сиденье не бултыхался на ухабах дороги, а мягко покачивался:

— Кыштымские, видно, — пояснил отец, — видишь, динамит везут. Много у них идет. По Медному-то руднику. Не как у нас. Привезут раз в два года.

— Откуда везут?

— Из города, конечно.

— Там делают?

— Этого не знаю. Только без нашего города в таком деле не обойдешься. Никому без разрешения горного начальства не дадут, а начальство-то это в городе.

— А может этот динамит бабахнуть по дороге?

— Где, поди. Он в фунтовых железных коробушках. Каждая войлоком замотана, да еще между рядами войлок, и телега на рессорах. Какой может быть удар?

Продолжая свои мысли, отец добавил.

— Наши вон до чего додумались! В склад в сапогах не допускают. Велят пимы, либо плетухи надевать. А так это, для одной видимости, чтоб горной страже дело придумать. Другого боятся.

Тут мама остановила:

— Будет тебе набивать парнишке голову, чем не надо.

Отец принял совет и с усмешкой спросил:

— Слышал, что мать говорит? Сперва, дескать, подрасти надо, а дальше сам разберешь.

Это разумеется, показалось мне обидным, но передышка кончилась. Приходилось опять поворачивать направо-налево, выглядывать прогалы для объезда, дергать, подхлестывать вожжами и покрикивать:

— Но-но! Пошевеливайся, Чалко!

Сказать по правде, все это прискучило, но нельзя было сдавать, если сам выпросил. Проехали еще только одиннадцать верст. Об этом говорил не только верстовой столб, но и «гра-

невая просека». Здесь, в этой части дачи, кончились владения Сысертского горного округа, начиналась казенная дача. Отец по этому поводу заметил:

— По другой земле поехали. Тут люди свой хлебушко жуют, не как у нас, все с купли.

В посессионной даче Сысертских заводов, где мы жили, вовсе не было пахотной земли. Хлеб на корню мне до этого приходилось видеть только в деревне Кашиной, которая когда-то была заверстана со своими наделами в заводскую дачу. Были хлебные поля и по другим деревням, приписанным к заводам, но мне в этих деревнях не приходилось бывать.

Разговор о своем хлебе растревожил моих родителей и после недолгого совещания они решили ехать стороной — через Шабры и Пантюши. Мотивировалось это желанием поглядеть нынешние хлеба. Желание было понятно мне, так как давно слышал немало разговоров о своем хлебе «уставной грамоте». По этой уставной будто бы заводским тоже будет земля. Правда, многие после долгих лет тяжбы с заводоуправлением перестали верить этому, но все-таки мечта о своем хлебе была распространенной. Нашли, как водится, и другие доводы, чтоб изменить путь.

— Дорога помягче. Крюк небольшой, а ехать спокойнее. Егорше передышка, а то он замотался, поди, по тракту-то.

Разумеется, я уверял, что мне вовсе не трудно, что могу ехать по тракту сколько угодно, но втайне желал перемены.

По проселочной дороге ехать оказалось приятнее и много спокойнее. После недавних дождей она была «в самый раз»: уже просохло, но еще не сильно пылило. День, с утра казавшийся хмурым, теперь «повернул на вёдро». Было даже жарко, но все же чувствовалось, что уже осень.

Чалко по каким-то своим лошадиным соображениям относился к перемене дороги тоже благосклонно. Без всякой погонялки он затрусил рысцой и удивил отца.

— Смотри-ка, разошелся! Эх, Чалко, в руки бы тебя! С хозяином вместе!

Мама, недолюбливавшая своего отчима, моего милого дедушку, на этот раз заступилась:

— Старики ведь оба.

Отец не согласился.

— Хоть и старики, да дюжие. Есть с кого спрашивать. У одного — руки золото, у другого — ноги не порченые, а это дорого стоит.

Эта часть пути осталась в памяти, как самая приятная. Поля, правда, здесь были не

особенно обширны, часто перемежались перелесками, но все-таки же это были хлебные поля, которые мне пришлось видеть по-настоящему первый раз. Рожь уже везде стояла в суслонах, пшеница и овес убраны наполовину. По случаю большого праздника людей в полях не видно, и это, мне кажется, лучше. Люди не отвлекают внимание от широкой картины однообразных и в то же время очень разных по освещению полей. Это же, видимо, захватило и взрослых. Долго ехали в полном молчании. Первым заговорил отец:

— Овсишки небогатые, а все-таки хорошо. Хоть бы вот такое полечко! Веселей бы жить-то.

Мама согласилась, и беседа у них сразу пришла к уставной грамоте: когда она будет? и будет ли? Пошли слова, которые я не раз слышал:

— Нашли ходатая-дворянина! Он по-дворянски и поступает: с общественников деньги берет, а барину служит.

— Доверились тоже Арсенку! Мужик, дескать, самостоятельный, а есть ли у него на пятак совести? И не скажи! В тот раз мы с Ильей еле отбились на сходке, как про арсеньину совесть речь завели.

Вспоминая это первое впечатление от хлебных полей, разговор родителей о своем

«полечке», постоянные толки об уставной грамоте, задумываешься, в чем же тут была сила.

Ни отец, ни мать, ни их деды и прадеды сельским хозяйством не занимались, навыков в этом деле не имели. Откуда же у них, как и у большинства рабочих завода того времени, эта мечта о своем клочке пахотной земли? Принято думать, что здесь действовало желание с помощью этого клочка получить хоть тень независимости от заводууправления. Может быть, так и было. Но едва ли это было единственным мотивом земельных надежд и мечтаний.

Привыкшие по-деловому оценивать все факты жизни, рабочие видели, разумеется, что в ближайших горнозаводских деревнях, при ничтожности наделов, никакой независимости не получалось. И если продолжали упорно в течение уже трех десятков лет добиваться пахотных наделов, то здесь думается, действовала другая сила. Та самая, что тянет каждого из нас, независимо от его специальности и привычек, «покопаться весной в земле и что-нибудь посадить». Как видно, двести лет работы в горе, у печей и прокатных станов не погасили более древние навыки народа-хлебо-роба, который на всем необъятном просторе нашей страны первым делом заводил свою

пашню и умел эту пашню отстоять от любого врага.

Приятная и самая легкая для меня часть дороги кончилась выездом уже за Арамилью. Началась опять дорожная сутолока, но встречный поток к вечеру заметно ослабел. Ехать было не так хлопотливо. Объездной дорогой миновали Новый завод, как тогда звали Нижне-Исетский, в отличие от старого — Верх-Исетска. Отец пренебрежительно махнул рукой в сторону завода.

— Казна — ведро без дна! Сколько не сыплут, а толку нет. У нас хоть видишь, кого сверх головы кормишь, а у них и этого не разберешь. Чиновник мелконький, да его много, и расход большой. Поговаривают, — вовсе закрыть завод собираются, а рабочие хлопочут, чтоб им отдали. Своей артелью хотят дело поднять, как на Абакане, да где, поди. Капиталов нет, подняться нечем. Тем, сказывают, и живут, что город близко. От него и питаются, кто чем умеет.

Когда подъезжали к Уктусу, встречных почти не стало, зато ближе к городу встречный поток принял вид непрерывной вереницы. Но это уж были не «дорожные», а выехавшие на прогулку. Щегольская запряжка, показательные лошади, нарядные пассажиры, кучера в невиданной мною форме, — все это казалось не-

обычным, требующим разъяснения. Отец ответил предположительно:

— Гулянье, видно, какое-то в Мещанском бору. Видишь, туда правятся.

У нас в заводе большинство знает друг друга. С детства нас приучали кланяться старшим при встречах. Этот обычай соблюдался и при встречах в лесу, в поле, на дороге. Были разные формы приветствия. Когда, например, встречаешь или обгоняешь за пределами селения, должен сказать «мир в дороге». Если люди расположились на отдых или сидят за едой, но за пределами селения, надо говорить «мир на стану», а если просто разговаривают — «мир на беседе» и т. д. Весь этот ритуал я знал и по дороге при встречах не забывал снимать свою шапку-катапку и говорить нужные слова. Мне отвечали почтительно, без усмешки. При встрече с непрерывной вереницей горожан снятие шапки стало затруднительным, но я все-таки старался с этим справиться. Однако мне не отвечали, улыбались, а один какой-то, ехавший в блестящей развалюшке, как у нашего заводского барина, с кучером в удивительной форме, закричал:

— Здравствуй, молодец! Поклонись от меня березовому пню да сосновому помелу, а дальше, как придумаешь,— и захохотал

Обескураженный насмешкой, обернулся к отцу, а он посмеивался:

— Научил тебя городской, кому кланяться? То-то и есть. Тут, брат, всякому кланяться, — шапку скоро сносишь. Да и не стоит, потому — половина жулья. Этот вот, может на гулянье едет, чтоб кого облапошить. А тоже вырядился! Извозчика легкового нанял. Знай наших!

— Какого извозчика?

— А вон видишь, — которые в долгих-то кафтанах да лаковых шляпах. Их сколько угодно по городу. Кому понадобится, тот и нанимает. За гривенник либо за пятиалтынный и больше, по дальности глядя.

— Хоть кто может нанять? И повезет? В такой развалюшке?

— Да хоть ты поезжай. Им все равно. Тем кормятся.

— Богатые?

— Вроде нашего брата. На хлеб, на соль добывают, а на приварок как случится.

— А кони вон какие и развалюшки блестят. Дорого ведь стоят?

— Без этого номера не дадут. В извозчики, значит, не пустят. Есть, конечно, и такие, что не по одной запряжке содержат. Эти, понятно, наживают, от себя работников держат. Извозчицы, выходит, подрядчики вроде на-

шего Жигана. А у работников своего только и видно, что борода да руки.

Получилось вовсе неожиданное. Оказывается, все эти замечательные запряжки просто извозчики, которых может нанять всякий. И среди них есть совсем бедные люди, на которых все хозяйское. Разберись тут! Во всяком случае интерес к извозчикам потускнел, да и остальной городской люд перестал казаться внушительным.

Приближался город. С южной стороны он тогда начинался на линии нынешней улицы Фрунзе. Это была еще одинарка, обращенная в сторону выгона с пожелтевшей, пропыленной полянкой.

Вправо от дороги, ближе к реке, виднелись здания, похожие на заводские.

— Посудное заведение тут,— пояснил отец.

Слева вплотную к городу примыкал сосновый бор, такой же, как у нас.

Город удивил своей величиной и обилием церквей. Потом я узнал, что по размерам города число церквей было не так уж велико по меркам тех дней, но тогда это мне казалось огромным. Заметней всех других зданий с этой стороны был монастырь. Его собор с широким куполом издали походил на большой башкирский малахай, поставленный среди сада.

Над этим куполом поднимался другой, еще более огромный, не с такими ясно очерченными линиями, но все же вполне заметный,— купол мелкой пыли, высоко поднявшейся над всем городом.

Подъезд к городу был удобен. В ряд с трактом, на широкой поляне вилося множество мягких дорожек — выбирай любую! Все эти дорожки сходились к одной улице, и я без труда мог решить вопрос, как лучше ехать. Вечер был ясный, тихий, но чувствовался какой-то «смердный дух». Иногда он становился заметнее, иногда ослабевал. Мама по этому поводу проговорила:

— И как там люди живут?

— Это еще что,— отозвался отец.— Вот когда по Полевской дороге поедешь, так напыхаешься. С непривычки человека стошнить может. Мимо боен-то да салотопок. А живут! Привыкли. Им нипочем, что кишки на дороге валяются. Воронья, видишь, сколько в той стороне кружится, а все из-за неряшества. В других-то местах, говорят, все это подбирают, да в дело пускают.

Так вот, какой город! Пыли шапка, на подъезде стошнить может, и в людях не разберешься. Думаешь,— барин, а вовсе он за гривенник нанял человека, у которого из своего видно только бороду да руки.

Столбов заставы в этой части города не было. Около углового дома на левой стороне улицы длинные коновязи. На крыльце шумливые люди. Сразу видно — кабак. О нем я слышал еще в своем заводе. Там частенько поминались два пункта: «Селетихин трактир» и «Семеновская ловушка». Обыкновенно это связывалось с семейной бедой: «раздели у Селетихи», «обдурили у Семенова», «выманили остатнее», «угнали лошадь» и т. д. На параллельной Уктусской улице, по которой был выезд на Полевскую дорогу, орудовали два таких же предприятия. В Полевском мне случилось слышать точь в точь такие же жалобы, только прославлялись иные имена: харчевня Корякова да Столярихина ловушка.

Чалко сделал было попытку присоединиться к лошадям, стоявшим у коновязей Селетихина трактира. Мама с отцом перемолвились: «Привычно, знать, место». Вот! всегда они так! Подсмеиваются над дедушкой, а он вон какой славный. Все ребята мне завидуют. И Чалко тоже хороший. А что бабушка теперь делает? Плачет, поди. Петька говорит: «я сразу оглядел бы!» Огляди попробуй! Вон какой большой город! И мысли окончательно повернулись к городу.

Первый квартал ничем не отличался от нашего заводского. Такие же домишки. Один

побольше, другой поменьше. Даже почва такая же, как по нашим улицам: тоже синий ребровик выглядывает. Второй квартал оказался каким-то однобоким. На одной стороне такие же маленькие дома, а на другой огромный пустырь, огороженный редким реечным забором. Через пустырь, как поднесенный, виден монастырь, с каменной оградой, по-осеннему пестрыми деревьями и сосновой рощей. Над купой церковей и зданий господствует собор. Тот самый, что издали показался мне похожим на башкирский малахай. Сходство и теперь оставалось, но другого малахая, — из городской пыли, — уже было не видно: мы в него въехали.

При спуске с горы заметил один старый, вросший в землю дом с сизыми стеклами, на том месте, где теперь живу свыше 40 лет, и пренебрежительно оценил:

— Тоже дом! В город поставили! У нас на Пеньковках лучше есть!

Впоследствии узнал, что это была «рабочая изба» в то еще время, когда эта часть города называлась Заимкой и представляла пригород с салотопными, мыловаренными заводами и бойней. Словом, со всем тем, что теперь отодвинуто на Полевскую дорогу и от чего «человека стошнить может».

После спуска с горы собственно и начался

город. Здесь уже была замощена средняя часть дороги. Это одинаково не понравилось ни мне, ни Чалку. Гремит, трясет, ногам твердо. Поэтому мы без всякого сговора выбрали мягкую обочину. Пыли тут было уже много.

Особенно удивил меня целый квартал каменных домов при выходе улицы на Александровский проспект (ныне Декабристов).

Эти каменные дома с невиданными раньше колоннами, с тротуарами из широких каменных плит привели в полный восторг.

Вот это город! Это дома! Кто только живет в них?

Как будто в ответ на этот вопрос из ворот дома с круглыми колоннами вылетел рослый вороной жеребец, запряженный в какую-то необыкновенно легонькую «штучку». Кучер тоже в чудной шапке с пером, в плисовом кафтане без рукавов показался мне просто великаном. Сидел он высоко над лошадьёю. Сиденье экипажа занимал на удивленье толстый человек, с обвислыми щеками. Одет он был, по-моему, гораздо хуже кучера.

— Кто это?

— Откуда мне знать. Может, хозяин этого дома. Может, в гости какой приезжал. Много их таких-то жируют тут.

— А почему у кучера рукавов нет?

— Для моды, видно.

При выезде на пересекавшую улицу впечатление от нового не ослабело. Справа красивый каменный мост с чугунными перилами между каменных столбов, налево прямая широкая улица — Александровский проспект. Он замощен уже во всю ширину. Это и понятно, так как здесь проходил Сибирский тракт. Движение тут и по вечернему времени было сильное. Стало хлопотливо. Не без моего попустительства Чалко встал в хвост обоза и зашагал не торопясь. Это позволило мне глядеть по сторонам и удивляться.

Отец, не перестававший знакомить меня с городом, указав на мост, проговорил:

— Там вон, за мостом-то, квартал только подняться,— и будет Конная площадь, куда лошадей-то приводят.

Мне разумеется, захотелось сейчас же «хоть одним глазком взглянуть» на эту площадь, но мои родители дружно заговорили, что ехать еще далеко, время к вечеру, заворачиваться на тракту трудно.

Из этого убедительней всего мне показался последний довод. Мама еще тревожилась, застанем ли мы Алчаевского, к которому ехали.

— Сам-то он, конечно, принял бы и все бы разъяснил, а вдруг уехал по участку. Его-то хозяйке какое до нас дело.

Отец не разделял этих опасений:

— Не такой человек. Твердо сказал: «приезжай в успенье, к вечеру. Обязательно дома буду». Так и сделает.

После этого разговора я все же стал усиленно причмокивать. Но Чалку город меньше всех нравился. Шагать по камню да еще в гору было совсем неприятно. Еле тащил. Отец мне напомнил:

— Егорша, ты где?

Меня тогда занял опять какой-то пустырь. Он тянулся по улице с угла до угла и уходил далеко вглубь квартала. На углу Александровского и Уктусской строилось какое-то довольно большое здание, а недалеко от него виден был подуразвалившийся кирпичный склад. На вопрос — что это? — отец ответил:

— Видишь, — пустоплесье какое-то. Они тут любят эти штуки делать. Захватят место и ждут, когда земля подорожает. Тогда и продают. Ловкачи ведь, — с пустого места рубли собирают. Это, видно, уж купил кто-то. Видишь, — строятся. А ты все-таки пошевеливай, пошевеливай! Потом придется, так и про этот пустырь узнаешь.

Так и вышло. Вскоре мне пришлось хорошо ознакомиться с этим заинтересовавшим меня местом, а пока приходилось подхлестывать Чалка, который вовсе стал отрицать на-

добность дальнейшей поездки. Находил, что давно пора отдохнуть.

С проспекта повернули на Уктусскую улицу. Она в этой части тоже была замощена, но обочины здесь оставались широкие и вовсе пыльные. Продолжали удивлять пустыри. В квартале справа и слева были заняты домами лишь угловые места, а вся середина, огороженная тесовым забором в каменных столбах, была под огородом, где росла только капуста. Таких огромных огородов мне еще не случалось видеть. Мама позавидовала:

— Хорошая у матерей капуста, а семена продают худые.

— Не зря говорят: у монастырок совесть по их одежке — черная, — отозвался отец.

На следующем углу стояло заметное каменное здание в три этажа.

— Вроде скворешника, — определил отец.

Действительно, дом был какой-то необыкновенный. Как видно, здесь сказывалось несоответствие между высотой и площадью пола.

Чтобы представить себе это здание, надо иметь в виду, что в нем в среднем этаже было только четыре классных комнаты, каждая не более как на сорок человек. Узкие окна усиливали эту общую неслаженность здания. На одном из углов надпись: «Екатеринбургское

духовное училище». То самое место, куда я ехал учиться.

На противоположной стороне улицы тоже каменное было здание, более прочно стоявшее на земле, в два этажа, с мезонином, имело надпись: «Екатеринбургское городское училище».

Все это было мне интересно, но стал занимать другой вопрос. Видел монастырь, проезжал мимо архиерейского сада, видел квартал богатых домов, пустыри, монастырские капустники, два училища, а где железный круг, чугушка, гостинный двор, магазины?

Оказалось, к этому лишь подъезжали. Мостовая кончилась, дорога вышла на Хлебный рынок. Там с правой стороны стояли ряды деревянных лавок, где торговали зерном и мучными товарами, тут же несколько в стороне от деревянных рядов длинный сарай — Обжорный ряд.

Против Хлебного рынка Уктусская улица шла одинаркой, по которой виднелось много вывесок. Одной из первых оказалась та самая лавка, о которой много говорили в нашем заводе. Это был небольшой каменный склад, над которым значилось: «Продажа металлов Сысертских заводов г. Соломирского и наследников Турчанинова». На дверях более крупно, с расчетом, видимо, на другого чита-

теля: «Железо кровельное, шабальное, шинное, подковное и поделочные обрезки». Через несколько домов такой же склад Кыштымско-Каслинских заводов, с тем же порядком надписей. Сверху подробно название округа с перечнем владельцев, а на дверях: «сковородки, вьюшки, заслонки, печные дверки». Еще дальше вывеска Сергинско-Уфалейских. Сверху титул, снизу: «проволока, гвозди».

В этом же квартале еще несколько лавок, где торговали изделиями из железа. Неожиданным оказался угловой многооконный дом. На крыше с одной стороны улицы на железных листах было написано выпуклыми позолоченными буквами: «продажа соли», а с другой улицы такими же буквами: «граф Строганов». Такую замечательную вывеску я видел впервые, и она запомнилась навсегда. И теперь, проходя мимо этого домишка, невольно вспоминаешь о ней и удивляешься жалким масштабам прошлого.

Дальше шли мучные ряды, но уже не в деревянных помещениях, а в каменных. Еще дальше гостиный двор, который назывался «новым», а на углу Уктусской и Главного проспекта старый гостиный двор. Тяжелое сооружение с навесом на неуклюжих каменных столбах. Торговли уже не было, и оба здания гостиных дворов казались угрюмыми.

Здесь с Уктусской улицы повернули на Главный проспект — лучшую часть города. Окрашенная в голубой цвет церковь, обнесённая довольно тесной оградой с чахлыми деревьями, не привлекла внимания. Церковь как церковь. Не лучше наших заводских. Но вот дом с лепными украшениями, это — да! Ничего похожего не видывал. И вывески тут какие-то особенные: «Жорж Блок», «Барон де Су-контен», а сверху какой-то неведомый: «нотариус».

Сама по себе эта главная улица была непохожа на остальные. Посреди обсаженной деревьями дорожка для пешеходов. В начале каждого квартала, у прохода на эту дорожку, с той и другой стороны небольшие лавочки, около которых толпится народ. Пьют «кислые щи», «баварский квас», ребята отходят с разноцветными трубочками, в которых, как я вскоре узнал, продавался мак с сахаром. Маковушка стоила от одной до трех копеек. Около лавочек прохаживался или стоял городской. Фигура скорее украшительная, чем охранительная. Эти постовые набирались из внешне видных людей, и все четверо, которых я видел в тот день, показались огромными и страшными. На этой же части пути увидел вывеску: «продажа металлов... графини Стенбок-Фермор». Мудреную фамилию запомнил

со всей цепкостью ребячьей памяти. О графах и графинях мне случалось читать немало интересных книжек. Там графы совершали самые удивительные подвиги, а графини с необыкновенными волосами, лицами, глазами, страдали, пока графы окончательно не освобождали их. Здесь оказывается, граф торгует солью, а графиня — железом. Соляной граф да еще с такой фамилией, как Строганов, укладывался в голове, а графиня — никак. Казалось, что она не сумеет торговать ни подковным железом ни даже обрезками. Отец был этого же мнения:

— Смотри-ка ты, наши все-таки умнее! На бойком месте торгуют, а эта графиня придумала под самым своим заводом лавку поставить. Кто у нее тут купит?

На выезде из города подивился столбам заставы с орлами наверху. Посмотрел на уходившие вдаль аллеи берез по обеим сторонам Московского (он же Сибирский и Казанский) тракта и направил Чалка по дороге в Верх-Исетск. Здесь было совсем родное, заводское. Дорога была такой же, как у нас на Вершинке: сделана подрудком и горным песком, дававшими красноватую пыль. Необычными казались лишь пешеходные дорожки, справа и слева, тоже обсаженные березами. На половине этой дороги Верх-Исетский госпиталь, —

белое каменное здание, показавшееся мне тогда очень красивым. Ипподром, который впоследствии доставил мне немало неприятностей, тогда не заметил. Подумал, что это опять какой-то большой пустырь, только обнесенный хорошим забором.

В Верх-Исетске без затруднения отыскали квартиру Алчаевского. Он оказался дома и принял приветливо. Указал место, где поставить лошадь, где брать воду, сходил к хозяевам, попросил, чтоб на эту ночь не спускали цепную собаку. Иначе незнакомому человеку нельзя будет ночью выйти к лошади. Когда все это было устроено, повел нас в квартиру.

Жена Алчаевского, красивая, молодая женщина тоже отнеслась приветливо, но детское чутье подсказало, что делается это в угоду мужу, а своего интереса к нам у ней нет.

Квартира у них, по моей мерке, была огромная: весь верхний этаж да еще кухня в нижнем. А жили только двое вверху, и кухарка внизу.

Пока «собирали на стол», Алчаевский увел нас с отцом в свою комнату. Я никогда даже думать не мог, чтоб в одном доме было столько книг. Полный шкаф «за стеклом», полки стоячие, полки висячие и огромный ворох в углу. Книги же лежали на всех столах и да-

же некоторых стульях. Кроме книг, было много других занимательных вещей. Волчья шкура, у которой целиком оставались голова с оскаленными зубами,— даже страшно немножко. Лосиные рога на стене. Тут же ружье и большой кинжал. Наверно, у Амалат-бека такой был! На столе какая-то машинка со стекляшками. Как потом узнал, микроскоп. Рядом куски руды, какие-то кости, на огромной книжище с застешками. Через открытую дверь в соседней комнате видны две кровати, закрытые чем-то необыкновенно красивым.

Алчаевский, усадив отца около своего стола, открыл большую резную коробку с папиросами.

— Покурим, Василий Данилович!

Отец, всегда кутивший махорку из трубки, на этот раз взял «дамскую», и мне это показалось забавным. По-городскому курить стал!

Разговор у них завязался оживленный, но мне он был мало интересен. Опять пошла уставная грамота, уполномоченный Дроздов, ходатай Эйсмонт.

Предоставленный себе, я прохаживался из комнаты в коридор, и мне было видно, что мама передавала хозяйке узорные чулки своей работы и ленту широких кружев, которые я

недавно видел на ее коклюшечной подушке. Работа, как видно, понравилась, и мама уже показывала какую-то обвязку. В привычных руках работа шла ловко и быстро, и хозяйка с удивлением отмечала «уж больше четверти». Наконец появилась кухарка, которую хозяева звали Парасковьюшкой. Она принесла самовар и разную еду. Появился объемистый графин. Меня все-таки этот стол не интересовал. Чувствовал, что слипаются глаза. Алчаевский пытался тормозить меня, задавал смешные задачи: сколько останется, если из бороды вырвать три волоска? можно ли купить на полтинник три пуда сахара? Но глаза продолжали слипаться.

— Ложись тогда на волка,— решил Алчаевский и принес подушку и покрывашку.

Ложиться на волка с оскаленными зубами в других условиях, может быть, показалось бы страшноватым, но теперь это прошло без раздумья. Поспешно разделся и, укладываясь, видел смыкающимися глазами бесформенный туман, в котором потом явственно вырисовывалась дорога, встречные обозы, шумная тройка. На обочине дороги, на раскинутых цветных одеялах, сидела графиня с распущенными волосами и на маленьких золотовесных весах развешивала железо, а кругом люди — и смеялись: «не умеет, не умеет!».

На другой день с утра пешком отправились в город. Мои экзамены заняли не очень много времени. За экзаменаторским столом сидели люди в рясах и необычных сюртуках без переду, но со светлыми пуговицами. Было страшно, но спрашивали все-таки не строго, и было удивительно, что некоторые мальчики путались, или вовсе не отвечали.

Мне пришлось написать две фразы «на миры», — «который с точкой, который без точки». В этих грамматических «мирах» я разбирался свободно, доска была свежей покраски, мел хороший, и я не забыл в конце каждой фразы «выкрутить точку», очень осязательную. После этого заставили читать, но, по-моему, бестолково: начнешь в одном месте, сейчас же перелистнут: «А ну, тут». Молитвы и заповеди рассыпал горошком, а когда стал разделявать историю какого-то ветхозаветного судьи, один из экзаминаторов пошутил:

— Так его! Круши с навесу, чтоб не встал!

Шутка, видимо, хорошо отражала мой ребячий азарт, и все засмеялись. Сидевший посредине инспектор, очевидно, чтоб не смутить новичка, сказал:

— Хорошо. Принят. Завтра приходи на уроки к девяти часам. — И пояснил остальным:

— Из светских. Отец у него простой рабочий.

Инспектор, а не понимает! Какой же простой, коли тятя с Ильей Гордеичем самолучшие мастера. По всему заводу! А по сварке никто против него не выстоит.

Уходя от стола, слышал, как экзаминатор, пошутивший над моим азартом, проговорил:

— То-то и есть. Светские чекалят, а у своих каша во рту застыла. Чуть получше мальчишка, так его в гимназию, либо в реальное сдают.

Выбежав в коридор, где толпились родители экзаменуемых, рассказал своим, что говорил инспектор, и склонен был «позадаваться» своим успехом. Отец погладил меня по голове, но повернул разговор в другую сторону.

— Александр Осипыч, конечно, хороший учитель. Ученики у него небось не хуже других. Как вот здесь учиться будешь?

Выходило, что я вроде и совсем не при чем. Это, разумеется, было немного обидно, как и то, что на экзамене не дали договорить до конца. Но что поделаешь? Большие всегда так.

После экзамена хотелось побродить по городу, посмотреть вблизи то, что вчера успел заметить лишь проездом. Главное, пробраться к чугунке и железному кругу. Но отцу надо было в тот же день уезжать домой, и он наотрез отказался, даже укорил:

— Что ты, милый сын! Неужели не знаешь,

что нам с матерью поторапливаться надо. На один-то день едва подменщика нашел. Время, сам знаешь, осеннее. У всякого по хозяйству дела много. А мне надо еще Евплычевых ребят повидать, да камешок вот велели Мише Поздееву завезти. Знаешь, который на Безносого-то тешет. Хоть на пути он живет, а все время понадобится. Чалка тоже нельзя задерживать. Дедушку надо до ненастья сено с Габеевки выдернуть.

Мне было приятно, что отец по-серьезному говорит со мной о своей занятости. «Евплычевых ребят», из которых один — Иван Михайлович — был уже с седыми висками, я хорошо знал. Терминология камнерезов была тоже мне известна. Я знал, что «тесать на Безносого» значило работать на подрядчика Трапезникова, который занимался памятниками, плитами и другими могильно-каменными изделиями из мрамора. «Ворочать на Корявого» означало — работать по мрамору же, но на другого подрядчика, который наряду с памятниками занимался продажей бытовых вещей, главным образом, умывальников. «Корпеть — на Нурова, Лагутяева, Липина» означало огранку самоцветов и мелкие изделия из цветного камня.

При таком положении мне оставалось только спросить:

— Какой камень?

Отец достал из кармана небольшой кусок сургучной яшмы.

— Вот этот. Чем-то, говорят, он замечателен. А Миша в яшмоделах считается на славе. Ему и велели передать.

Осмотрев с видом знатока камень, я признал его «стоящим» и в то же время вынужден был примириться с мыслью о близкой разлуке с родителями.

От училища мы с мамой пошли на Щепную площадь, чтоб купить там сундучок. Здесь тогда были лабазы с просторными навесами, под которыми выставлялся такой товар, как телеги, санки, кошевки и горки сундуков. Помню, что меня удивило, когда увидел в щепном товаре также зеркала, обои. В одном месте ожесточенно рядились около ямской телеги. У других лабазов народу было не видно. Только переходила от лабаза к лабазу группа женщин, «присматривавших горку для невесты».

Мы не задержались на Щепной площади. Цена на маленькие сундучки была определенной, рядиться не приходилось. Купили окованный полосками железа зеленый сундучок, взяли его с мамой за боковые скобочки — ручки и двинулись дальше. Шли на этот раз, спрямляя путь, — к толкучке, на Коковинской улице.

Там тоже были ряды лавчонок с небольшими навесами, где болталось расцветное тряпье: пояски, ленточки, платочки. Здесь выбрали мне картузик: моя шляпа-катанка не подходила для города. А жаль. Хорошая шапочка. Если ее развернуть до конца, то до плеч закрыться можно. И воду черпать ей вовсе свободно. Но против покупки картузика не возражал. Еще бы! Было приятно, что продавец, примеривая фуражки, говорил мне: «молодой человек».

Народу на этой площадке было гораздо больше, особенно там, где «продавали с рук». Площадка маленькая по сравнению с Щепной. Щепная тогда ограничивалась с севера Сибирским проспектом (нынешняя ул. Куйбышева), на юг доходила до нынешней Народной Воли. Дороги, выходявшие на эту площадь с трех улиц, сходились в одну «лаженую» около лабазов. Конное движение здесь было сильное, так как тут спрямлялся Сибирский тракт. Этим, вероятно, и объяснялось, что здесь «на ходу» открыли торговлю колесами, санями, телегами, а к ним добавили и разные домашние вещи. Этим же, вероятно, объяснялось, что между нынешними улицами Малышева и Куйбышева сплошь помещались постоянные дворы. На этих же участках города содержалась ямская гоньба. Самыми замет-

ными в этой группе ямщиков были двое Субботиных. Были ли они родственниками, или только однофамильцами, не знаю, но отчетливо помню, что «сведующие» ребята, из таких, которые теперь любят разбираться в марках машин, тогда определяли: «Егора Субботина запряжка», «Степана Субботина кони», «На вольном каком-то пробирается».

Участки улиц с постоянными дворами и ямской гоньбой к концу зимы покрывались таким толстым слоем навоза, с которым мог соперничать разве Хлебный рынок, где многие приезжие кормили лошадей. В весеннее и осеннее время здесь трудно было пройти и пешеходу. Хотя Щепная площадь имела явно выраженный скат с запада на восток, она была не проканавлена и местами тоже трудно проходима. На том месте, где приходится теперь северо-западный угол стадиона, бил ключик, а рядом с ним «зыбун», на котором ребята не без удовольствия качались. Иногда «зыбун» даже оказывался яблоком раздора между отдельными ватагами ребятишек, хотя оснований для битвы не было: «зыбуна» на всех хватало.

Проходя первый раз по Щепной площади, я, разумеется, ничего этого не знал и удивлялся жалкому виду Волчьего порядка, который своими покосившимися, «извороченными» до-

мишками выходил на площадь в заболоченной восточной части.

— Тоже город называется! Дома-то вон как искорепало!

Мама по этому поводу заметила:

— По всякому люди и в городе живут. Не думай, что все на рысках ездят.

Из зданий, выходявших на Щепную площадь, заметил тогда лишь Нуровский приют, двухэтажное каменное здание на том месте, где теперь здание геологического музея. При доме, как водилось тогда для учреждений подобного порядка, была церквушка. Было бы где «призреваемым помолиться за своего благодетеля».

Мне потом много раз приходилось проходить мимо приюта, приблизительно, в одни и те же часы,— и я неизменно слышал одну и ту же песенку:

Клубок катится,
Нитка тянется
Клубок дале, дале.
Нитка доле, доле.

Через окно было видно: в большой комнате сидит человек сорок девочек в платьишках серо-грязного цвета, ковыряются над большими полосами белой материи и без конца тянут свою тоскливую песенку. Это запомнилось

тоже на всю жизнь, как самое унылое, безрадостное. И хотя я тогда был еще в поре мальчишеского презрения ко всем девчонкам, мне было жаль этих нуровских приюток, корпевших над вышиванием больших полотнищ, которые «дарились» потом разным «благотелям».

На Коковинке наши пути разошлись. Отцу надо было разыскать «Евплычевых ребят». О них было известно, что живут на Амуре, через дом от пивной Филитц. Адрес не совсем точный, но найти можно. Меня удивило, почему «Евплычевы ребята» живут в таком «худом месте», о котором в нашем заводе говорилось всегда в связи с пьянством, драками, жульничеством.

На мой вопрос, почему «Евплычевы» живут на Амуре, отец скупно сказал:

— И в тюрьму люди попадают, да чести не теряют.

Маме хотелось повидать свою «сведенную» сестру, которая была замужем в городе. Мне было известно, что ее муж «сам печатает книжки и газеты». Понятно, что такой человек, в моих глазах, был много интереснее Евплычевых, и мы с мамой, подхватив сундучок, отправились на Усольцевскую. Адрес здесь был более точный: «от Главного, если идти к Верх-Исетскому, направо, четвертый

дом на правой стороне. На деле и тут оказалась трудность. Путали пустыри, которыми начинался этот участок: считать их или не считать? Я настаивал — считать, но тогда четвертый дом приходился графский. Так и написано было: «дом графа Ивана Андреевича Толстого». Опять граф! Сколько же их в городе! Может, этот Льву Николаевичу родня? Тоже, поди, пишет книги? Неужели торгует? Нет, этот по другому делу. На большой медной доске, на дверях написано: «Председатель дворянской опеки». Что за штука такая?

Хотя звание человека, который сам печатает книги, стояло в моем мнении высоко, но я все же не мог допустить мысли, что он живет с графом, в графском доме. Следующий дом оказался принадлежавшим наследникам какой-то мещанской вдовы. Во дворе было два флигеля: один двухэтажный, другой — похуже нашей бани, как я определил его для себя. В нем-то и жили те, кого мы искали. Мне это показалось непохожим на правду. Еще непонятнее была та кричащая бедность, которую мы увидели внутри хибарки. Изможденная, с лихорадочным блеском в глазах женщина сидела у стола и коротким сапожным ножом резала разноцветную бумагу. На полу двое малышей играли обрезками бума-

ги, а третий, совсем еще маленький, спал в
зыбке. Увидев маму, женщина бросила нож и
заплакала:

— Как ты это надоумилась, Татьянушка?
Все меня позабыли. Бывают ведь, а никто не
заглянет. Погляди-ка, погляди на наше город-
ское житье. А это Егорчик? Какой большой
вырос! Учиться привезла? Выучишь вот,—
станет, как мой, бедствовать. Сама-то какво
бегаешь? Василий где? К Евплычевым убе-
жал? Не застанет дома. Видела я недавно
Андрея. У Круковского на заводе пристроил-
ся.— Жить бы,—говорит,— можно, да квар-
тира бьет.

Женщина говорила быстро. Задавала во-
просы и часто не ждала ответа, как будто
боялась, что ей не дадут договорить. Мама
лишь успела спросить:

— Пьет твой-то?

— То и горе, что не забыл этой привычки.
Остепенился маленько, а нет-нет и сорвется.
Пора за ум взяться. У меня, поди-ка, их под
ногами трое,—указала она на ребят,—да
столько же по улицам собак гоняют. А глав-
ное,—все здесь с купли. За балаган этот по-
дай семь с полтиной в месяц да еще дрова!
Видишь вон,—цветочками занимаюсь. Мада-
ме одной сдаю, а расчет в копейках. Ничего
не поделаешь. Пока живая, тянуться надо.

Недолго уж. Этих вот только жаль,— показала она на ползунков.

— Не ходят? — тревожно спросила мама.

— Не с чего им ходить,— ответила Варвара и горько расплакалась, прижавшись к маме.

— Чую, не долго протяну, а с ними что? Ивана тоже жалко. Вовсе он без меня с пути собьется и ребят загубит.

Мама стала утешать но чувствовалось, что она сама не верила тому, что говорила.

Варвара махнула рукой:

— Ладно, Танюшка, не уговаривай. Сама виновата: захотела городского свету. Насмотрелась досыта. Зря ты своего парнишку привезла в это губительное место.

Этот оборот разговора мне вовсе не понравился, но обижаться на больную я тоже не мог. Скорей было страшно, и я был рад, когда уходили из этого несчастного дома. Но страшная картина все же не смогла заслонить удивления,— у человека, который «сам печатал», я не видел ни одной книги. Это было продолжением мыслей о невозможности понять городских.

— Не разберешь их! Сами печатают, а книг не читают!

Когда пришли в Верх-Исетск, отец уже был там.

— Ну, как Варвара?

— Чуть ли не на смерть простились,— ответила мама.— В чем душа держится. А ребята мал-мала меньше... Шестеро их...— и мама заплакала.

— Что поделаешь,— угрюмо отозвался отец.— Не одну ее город съел. Вон Евплычевы поглядела бы, где живут. А ведь у Ивана то мастерство. Настоящее. Зацепился где-то на мельнице, а меньшей-то Андрюха — на заводе у Круковского. Не видал их, а по жилью понятно, что худо дело.

Вскоре прибежал Миша Поздеев. Он каким-то образом узнало приезде отца и захотел с ним повидаться. Этот Миша оказался плещивым узкобородым и очень тощим стариком. Камешок он одобрил, но невысоко оценил заказчика:

— Не больно подходит борову пухова шляпа, да что поделаешь? Придется, видно, сделать. Пусть носит. Не хуже он нашего Бесносого. Тот вон вовсе в бары дезет. Даже глядеть смешно.

И Поздеев стал рассказывать о своем подрядчике, на которого «тесал, почитай, весь Мраморский завод», да в городе на дополнительных работах «колотилось близко к двум десяткам».

Отцу хотелось перед отъездом поговорить

с Алчаевским, но Никиту Савельича с утра вызвали в город, и дома не знали, когда он вернется. Приходилось ехать, не дождавшись его. Мне, конечно, стало жутковато и почему-то особенно жаль было расставаться с Чалком. Мама произвела мне экзамен: как будешь ходить в училище? Ответил,— вперед стану «правиться» на монастырь, обратно — сперва на коричневую церковь, потом на голубую, которая на Главном проспекте. Это было признано удовлетворительным, и мама попросила кухарку Парасковьюшку:

— Сделай милость, пригляди за нашим-то!

И мне было приятно, когда Парасковьюшка, кивая головой, говорила:

— Как без этого. Своих ребят растила, понимаю. Будь в спокойе, догляжу.

Это обещание, помню, успокоило меня больше всего, вероятно потому, что Парасковьюшка ближе других стояла к тому кругу людей, с которыми я разлучался.

Отец при прощании посоветовал:

— Ты, Егорша, в ограде-то с оглядкой действуй. На городской штиль живут. Вроде постоянного двора тут у них. Без спросу полешко построгаться не возьмешь. Разговор может выйти. Ты и остерегайся.— И после этого утешил:

— По снегу-то мать, либо оба приедем. Никита Савельич обещал похлопотать. Может, тебя в общежитие примут.

Дальше оставалось позавидовать Чалку, который с заметным оживлением направился домой.

Знакомство с городом ближе всего было начинать со двора, где пришлось поселиться. Сразу стало видно, что тут не по-нашему живут. У нас обычно двор и семья были одно и то же. Жильцы, то-есть кровно не связанные с семьей, были большой редкостью. Кроме того, для меня было привычно, что «всякий житель с какого-нибудь боку к заводу привязан». Тут выходило совсем по-другому. Из шести жильцов нашего дома только один Никита Савельич был связан с заводом, и то не так, как у нас. Он был уездным ветеринаром юго-восточной части. Для дела было бы удобнее жить в городе, но положение *уездного* требовало жить в уезде. Никита Савельич и выбрал для своего жительства Верх-Исетский завод. Выходило несколько лишних верст пути, но форма была соблюдена.

Из других жильцов двора мне казался понятен лишь беззубый, с выскребленными скулами, но не старый еще человек. Таких я знал среди рабочих спичечной фабрики вблизи Сысерти. Этот тоже работал на спичечной Ворон-

цова. Каждый праздник, как я потом увидел, он напивался и невнятно шамкал жене:

— Счастье нам, Настюха, что ребята умирают. Куда бы с ними?

Настюха, крупная женщина, «ходившая по стиркам», уговаривала:

— Молчи-ко ты, молчи. Грех такое говорить,— и уводила мужа в малуху под навесом.

Во флигеле окнами на улицу жили «какие-то вроде бар», по фамилии Волокитины. Мой первый руководитель по городской жизни — Парасковьюшка объясняла их положение не очень вразумительно:

— Заведенье у ней в городу-то. Шляпное. Как-то по-другому она там прозывается. А сам, конечно, при ней за хозяина состоит.

Потом мне удалось увидеть, что изменение фамилии было забавное: «мадам Хан-Волокитина». Не лучше, чем «портной Дон-Скутский», имевший свою мастерскую напротив.

Неясным казалось и положение владельцев дома, занимавших нижний этаж. Парасковьюшка о них говорила:

— Известно, хозяева. За порядком глядят. Чтоб скандалу какого промеж жильцов не случилось. Какое еще им дело?

Ближе, знакомее, оказался чиновник горного ведомства. Ходил он «по-благородному»: «с выбранной чушкой» и «при кукарде», но в